

«ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ (ПО МИЛЛЮ)»

[...] Мы не намерены здесь излагать ни так называемых социалистических, ни так называемых коммунистических теорий. Мы ограничимся только несколькими словами о тоне, которым говорит о них Милль, и о последних словах приведенного нами отрывка. К этому мы прибавим разве только одно, да и то не теоретическое, а чисто историческое пополнение.

Общепринятый тон политико-экономических отзывов о коммунистах и социалистах не один раз изменялся с той поры, как эти тенденции заняли постоянное и видное место в умственной жизни. До 1848 года масса умеренных прогрессистов, в том числе и почти все политико-экономы, говорили о коммунистах и социалистах с любезною снисходительностью, как о мечтателях благонамеренных, хотя и заблуждающихся, но самыми своими заблуждениями отчасти содействовавших им, умеренным прогрессистам, в разъяснении истины. Над коммунистами и социалистами при случае подсмеивались с приятными претензиями на остроумие, без ожесточения, больше для препровождения времени, но говорилось это о них лишь при случае, не слишком часто и не слишком помногу. Они казались людьми неважными.

В 1848 году повсюду, где был переворот, бывали в нем более или менее заметны или у всей массы простонародья или у довольно больших отделов ее какие-то отчасти неясные тенденции, клонившиеся к коренному ниспровержению существующего экономического порядка, тенденции, казавшиеся сходными с коммунизмом. В то же время обнаруживалось, что бывшие защитники коммунизма и социализма в литературе думают воспользоваться этими тенденциями, которые были порицаемы даже и самыми радикальными из демократов, не бывших коммунистами или социалистами. Таким образом, раскрылось для всех, что между коммунистами и социалистами и всеми другими

партиями есть коренная разница, гораздо значительнее даже той, какая существует между самыми далекими друг от друга из остальных партий. Приверженец абсолютизма и красный республиканец чувствовали в это время, что у них у обоих есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты. А эти люди, оказавшиеся идущими против учреждений, равно драгоценных и для реакционера и для огромного большинства революционеров, оказались в некоторых местах довольно близкими к получению власти над обществом. Например, предводители баденских инсургентов Геккер и Струве были социалисты, а ведь они успели овладеть Баденом и были побеждены уже только двинутыми на них прусскими войсками². Но главным источником страха была, разумеется, Франция. Временное правительство нашло нужным льстить коммунистам и социалистам, чтобы выиграть время. Эти ловкие маневры имели вид такой искренности, что казалось, будто оно дает социалистам и коммунистам участие в управлении страной. На самом деле ничего такого не было сделано. Но имя Луи-Блана в числе членов временного правительства и люксембургские конференции, которыми или обманули этого тщеславного труса (если он тщеславный трус), или обольстили этого самоотверженного гражданина (если он был самоотверженный гражданин, не хотевший вести свою партию к победе путем междоусобной войны), — национальные мастерские³, устроенные врагами коммунизма, как лагерь против коммунистов, и однакоже очень хитро выставлявшиеся за создание коммунистов, — этого было уже довольно, чтобы вся Европа кричала: «коммунисты овладевают правительством во Франции!» А тут поднялось громадное июньское восстание, подавленное лишь после такой упорной битвы, какой еще никогда не бывало даже и в парижских междоусобицах. Под влиянием этих событий все стали трепетать при одной мысли о коммунистах и социалистах, и ни на минуту не мог никто избавиться от мысли о них. В ту эпоху не в силах был человек написать ни одной страницы без того, чтобы не попали туда социалисты или коммунисты с приставкою надлежащих проклятий. Политическая экономия заразилась социализмофобией и коммунизмофобией (разумеется, в тех странах, которые подвергались перевороту, и в странах, повторяющих все с голоса тех стран. Англичане сохранили некоторое хладнокровие). Брань — настроение духа, одаренное очень большою живучестью. Трусость также. Раз принявшись бранить и трусить социалистов и коммунистов, континентальные политико-экономы еще не успели опра-

виться от своего истерического припадка. Но 10 или 12 лет — порядочный срок времени, и нельзя, чтобы не случилось в такой срок ничего, могущего подействовать даже и на людей, упражняющихся в истерике. Оно и действительно возникли в это время два явления, отчасти подействовавшие на континентальных политико-экономов. Очень видное место в литературе занял писатель очень крутого нрава, Прудон. Кто он такой, социалист или не социалист, коммунист или не коммунист — этого никто из континентальных политико-экономов не умеет разобрать, да и сам Прудон, быть может, не знает определенно. Но одно всем заметно: он ужасно бранится, и так бранится, что на кого набросится, безвозвратно выставит глупцом. Бранит он социалистов и коммунистов — это хорошо; но попробуй кто-нибудь сказать что-нибудь против них, он так отделает этого господина, что тот жизни будет не рад: «если, говорит, я их называю глупцами, так другое дело — я понимаю их; а вы, милостивый государь, не понимаете их, вы сами гораздо глупее их, да и в политической экономике вы ни аза в глаза не знаете; какой вы политико-эконом! вы просто ахиною городите». Вот от страха перед таким чудовищем иной раз и боится политико-эконом не сделать милой улыбки коммунизму в извинение за то, что тут же выбранил коммунистов. А тут есть еще другое обстоятельство, коммунизм популярен: кому не хочется уловить частичку популярности? Вот политико-эконом, выбравши коммунизм, и прибавляет для партера: «что это я, дескать, только так говорю против крайностей и утопий, а что касается до здоровой части новых стремлений, так я до-нельзя люблю ее», и пойдет хвалить ассоциации, предрекать им великую будущность, заболтается до того, что сам уже ничего не разбирает, что говорит. Таким образом нынешний обыкновенный тон-отзывов о коммунизме — смесь неистовств с сладкими улыбочками, проклятий с комплиментами.

Ничего такого нет у Милля. Он смотрит на ужасающие крайности других теорий очень спокойно и не видит в них ничего возмутительного. Пересматривая возражения, какие делаются против коммунизма, он не находит между ними ни одного основательного. Решительный вывод его о коммунизме тот, что, если система собственности будет усовершенствована, она, — почему знать? — может быть, окажется и лучше коммунизма, но в нынешнем своем виде далеко уступает ему. К социализму он обнаруживает еще более сочувствия и не видит в нем уже ровно ничего не только дурного, но и неудобного. Одно только сомнение

выставляет он: нынешний уровень общественной нравственности очень низок; способны ли люди к принятию какого-нибудь хорошего устройства при этом нынешнем своем состоянии? Разумеется, это сомнение очень основательно, и надобно сказать, что оно применяется не к одному вопросу о коммунизме или социализме, а решительно ко всякому вопросу о каком бы то ни было существенном улучшении. Например, англичане владеют Ост-Индиею; можно ли ввести у индийцев цивилизованный порядок вещей, который был бы для них несравненно полезнее нынешнего? «При нынешнем состоянии общественной нравственности в Ост-Индии это очень сомнительно!» Можно ли уничтожить вывоз негров из Африки в Америку, чтобы негритянские племена не воевали между собою с целью захватывать пленных и продавать их на вывоз? «При нынешнем состоянии негритянских племен это очень сомнительно!» Можно ли устроить, чтобы друзья и марониты⁵ не резали друг друга, если не будут удерживаться от резни страшными строгостями Фуад-Паши? «При нынешнем состоянии нравов их это очень сомнительно». Но то дикие или полудикие страны, не угодно ли подумать вам о цивилизованных? Можно ли ждать, чтобы иезуитская партия потеряла всякое влияние на значительную часть французов? Или, чтобы английские простолюдины стали обращаться с своими женами хотя так, как обращаются французские? Или, чтобы немцы бросили свою дрянную кухню, развивающую между ними золотушные болезни? На все эти вопросы ответ тот же самый. — «При нынешнем состоянии это очень сомнительно».

Да это ли одно? В одних ли вещах важных сомнительна возможность скорой, полной перемены к лучшему? Возьмите какие хотите пустяки, во всяких пустяках она сомнительна. Например, можно ли быстро сделать, чтобы петербургские или московские вывески не отличались безграмотностью? или, чтобы общие собрания акционеров русских акционерных компаний стали держать себя благоразумно? или, чтобы русские журналы приняли одинаковую орфографию, чтобы не писались одни и те же слова в одних журналах большими буквами, а в других маленькими, чтобы во всех журналах писалось как-нибудь по-одному: или «телѣга», или «тѣлега»? или, чтобы англичане, вместо нынешнего своего неудобного способа делать чай, завели самовары, которые сами они находят очень удобною посуду? или, чтобы бросили они в газетах некрасивый обычай печатать собственные имена особнным шрифтом, так называемой капителью? Или, чтобы немцы

бросили дикое правило писать каждое существительное имя с большой буквы? или, чтобы французы, вместо своих никуда негодных каминов, с которыми страшно мерзнут, завели у себя порядочные камины вроде английских или порядочные печи вроде немецких? Кажется, все эти желания и удобоисполнимые, а между тем о каждом из них надобно решительно сказать, что очень скорого исполнения его ожидать нельзя.

«Разумеется, ничто на свете вдруг не делается!» И хорошо еще, если дело идет хотя медленно, но без остановок, без неудач, без поворотов к старому. Только идут так лишь неважные дела. В делах важных успех достигается после длинного ряда неудач, и за каждым движением вперед следует реакция, теснящая дело назад с таким упорством, что преодолевается только чрезвычайным напряжением сил, за которым, конечно, следует утомление с новым преобладанием реакции.

Есть люди, которые не ждут успеха ни при каком отдельном факте, а знают только, что в окончательном результате будет успех, — знают потому, что сомневаться в нем нельзя: неизбежность его доказывает себя математически. Распространяется ли грамотность в России? Сомневаться в этом просто глупо. Но если хотите, можете ждать неудачи при основании каждой воскресной школы⁶, можете, если хотите, ждать, что и все нынешнее движение в пользу воскресных школ потерпит как-нибудь неудачу — что ж из этого? Только то, что от неудач унывать нечего, их надо предвидеть. Но если ждать неудачи, то как же браться за дело? Ведь и охота к нему пропадет. Полноте, будто это от наших мыслей зависит: станем ли мы иметь охоту? и будто, если скажет себе человек: «не стану я делать этого», так уж и точно не станет делать? Полноте; посмотрите на свои ежедневные поступки: сколько раз каждый из нас давал себе зарок, например, хотя бы не спорить о теоретических вопросах? Разве удавалось кому-нибудь переубедить противника в один вечер? Разве, расходясь, не говорил он себе каждый раз: «как однакоже я глуп, что спорил!» или разве не давал себе каждый из нас зарок не верить никому на свете или не любить никого на свете? И однакоже: разве исполняются эти зарок? Да, исполняются до первого случая, а как случай представился, натура и берет верх — и опять споришь и опять привязываешься, пока не износишься весь. А покуда ты износишься, подрастают другие на твоё место терпеть те же неудачи, давать те же зарок и точно так же пробиваться по той же дороге. Стало быть, взгляд, нами из-

ложенный, нимало не мешает усердию практических хлопот у людей, разделяющих его. А надобно заметить, что мы вовсе не полагаем, будто бы в какую бы то ни было данную минуту большинство людей, убежденных в известной истине, могло не находить, что она готова вполне осуществиться при первом несколько удобном случае силою одной попытки. Хладнокровно рассуждать о шансах любимого дела в то самое время, когда стараешься об исполнении его, — это возможно только или при сильной большой опытности, или при особенном темпераменте, в котором холодность ума соединяется с горячностью воли. Людей того и другого рода всегда бывает довольно мало. Остальных не разубедишь: им все будет казаться, что вот-вот представляется один из тех, почти беспримерных в истории случаев, когда с одного раза прочно приобреталось многое. Стало быть, взгляд наш на шансы близкого будущего не охладит никого. Кто разделяет или будет разделять его, тот уже не способен охлаждаться перспективою или полных неудач, или удач, слишком неполных, потому что он давно свыкся с этой перспективой, и деятельность его происходит из необходимой потребности всей его натуры, а не из юношеской веры в свое счастье или в свое время. А кого оживляет доверчивость к своему счастью или своему времени, кто охладился бы, утратив ее, тот и не примет нашего сурового взгляда. Но он позволит нам не высказывать надежд, которых мы не имеем, и рассуждать о вещах не с угождением ему, а сообразно своему взгляду. Мы совершенно согласны с Миллем, что нельзя ждать скорого замещения нынешней коренной институции экономического быта порядком дел, основанным на ином принципе. Но следует ли из этого, что «политико-эконом долго должен будет заниматься условиями быта и прогресса», принадлежащими нынешнему господствующему принципу? Оно так, только не в том смысле, какой дает этому Милль. Разумеется, всего больше человек должен заниматься настоящим своим положением и будущим очень близким, но как он будет судить о нем? На основании ли того, что принимает он за истину, или должен заставлять эту норму, если она вполне неосуществима завтра или послезавтра.

У вас есть сын, мальчик лет девяти или десяти, едва начинающий учиться. Скоро ли он может попасть в университет? Но ведь вы думаете, что когда-нибудь ему следует быть в университете; вы находите, что это будет всего лучше для него; что ж теперь, разве вы не располагаете все его воспитание так, чтобы он стал способен поступить

в университет и чтобы избежал лишних задержек, и разве, когда он спрашивает вас, к чему полезнее для него готовиться, — разве вы не рассказываете ему об университете? и если, сбиваемый с толку глупостями, которые слышит беспрестанно и от товарищей, а еще больше от людей, которых считает умнее себя, — он прибегает к вам с вопросом: не лучше ли быть гусарским юнкером, чем студентом? — разве вы отпускаете его с удовлетворительным решением: «мы, дескать, потолкуем с тобой об этом лет через семь». Благоразумно вы поступаете в подобном случае! Или, быть может, вы поступаете еще рассудительнее, поддакиваете мальчику, что точно, если студентом быть недурно, то быть гусарским юнкером еще полезнее для него: «пусть, дескать, в самом деле попробует, может быть, в самом деле хорошо, а увидит, что нехорошо, станет ходить в университет».

Кажется, что рассудительные люди так не поступают. Близка или далека цель, все равно, нельзя выпускать ее из мысли, нельзя, потому что, как бы далеко ни была она, ежеминутно представляются и в нынешний день случаи, в которых надобно поступить одним способом, если вы имеете эту цель, и другим способом, если вы не имеете ее. Разумеется, не доедете вы в один день ни до Казани, ни до Берлина, но ведь на самом первом шагу путь разветвляется: в Казань одна дорога, а в Берлин — совершенно другая. Так не будете ли вы рассуждать так: «станция Московской дороги к моей квартире ближе, извозчик ближе, да и торцовая мостовая по Невскому удобнее, так проедусь я сперва несколько станций по дороге в Казань, а там где-нибудь сворочу на берлинскую дорогу. А то, может быть, и не сворочу — что ж, ведь и Казань хороший город!»

Мы ничего не говорим — выбирайте себе цель, какую хотите, Казань ли, Берлин ли, только выбирайте же, и если вы находите, что в Берлине быть вам лучше, чем в Казани, то уж так и направляйтесь. Но а с Казанью что ж делать в таком случае? неужели забыть о ней? Разумеется, всего проще было бы не заниматься ею слишком много. Но, быть может, есть у вас приятели и советники, которые тянут вас в Казань. Если так, нечего делать, вам приходится рассуждать о Казани очень много; но в каком смысле, позвольте вас спросить, станете вы рассуждать о ней? Вы станете доказывать вашим приятелям и советникам, что ехать вам туда не следует, а следует вам ехать в другую сторону.

Или, быть может, вы еще не знаете, куда вам следует ехать? Да как же не знаете, вы уже едете? Ведь история не на диване, на котором лежит человек, не двигаясь с места, ведь она мчит вас куда-то, а вы еще не знаете куда? Так уж вы поскорее разузнайте, куда это она вас мчит? Туда ли, куда вам нужно? и если туда, куда вам нужно, то напрасно вы и толкуете о других дорогах, а если не туда, куда вам нужно, то сворачивайте.

Милль рассуждает не совсем так: судя по всему, говорит он, надобно ехать в Берлин, однакож махнемте на нем рукою и поедem в Казань.

Заключение не совсем логическое. Мы уже видели, на каком соображении делается оно: при нынешнем низком состоянии умственного развития и нравственных понятий в обществе рано еще думать об осуществлении идей, которые хороши сами по себе. Мы видели, что, если и правда, что рано ждать полного их осуществления, это нисколько не избавляет от надобности внимательно и подробно изучать их, потому что иначе мы будем сбиваться с дороги. Но рано в нынешнее время ждать осуществления лишь тех систем окончательного устройства экономических отношений, о которых об одних и говорил Милль. А разве не случается, что мыслитель, развивающий свою идею с одною заботою о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одною частью своей системы, удобоисполнимою и для настоящего? Спросили бы вы, например, Роберта Пилья, что ему кажется наилучшим по вопросу о заграничной торговле? Наверно он отвечал бы: совершенное уничтожение и таможенных пошлин и таможен. Да он и говорил это много раз. Что ж, значит, он был фантазер, и от его мыслей можно отделаться словами: «хорошо, но еще слишком рано думать нам об этом»... Нет, вы знаете, что Роберт Пиль, кроме рассуждения о безусловно и окончательно наилучшем, рассуждал и о том, в какой мере, какую часть этого наилучшего можно исполнить и теперь; он вовсе и не предлагал парламенту — раз, два, три, хлоп! и отменить все пошлины и разорить таможни. Известно, что в парламенте он предлагал вещи совершенно практические, исполнение которых оказалось и легко и полезно.

Вот то же самое и по вопросу, занимающему нас. Полное теоретическое изложение системы известного быта, основанного на известном принципе, — вещь необходимая: нужно же знать, что в самом деле хорошо и справедливо,

а сверх того, у кого не уяснены принципы во всей логической полноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха. Но если были на свете гениальные мыслители и нашли себе достойных учеников и приобрели популярность, то ведь надобно же положить, что или сами они, или некоторые из учеников их догадались же, кроме этих рассуждений об отвлеченной теории, поговорить и о возможном в современной действительности.

Оно так и было. Размеры статьи не допускают нам говорить о всех таких предложениях, имеющих в виду границы возможного для нынешней эпохи, да оно, может быть, и лишнее было бы перечислить много таких программ, потому что в существенном все они сходны. Ограничимся же одним примером, который приводил я в одной из прежних своих статей (Труд и капитал, «Современник», 1860 год, № 1, Русская литература, стр. 60—66).

Нам вздумалось взять в пример тогда Луи-Блана.

Не мешает сделать небольшую оговорку. Луи-Блан человек вовсе не из тех первоклассных мыслителей, каковы были Сен-Симон, Фурье, Роберт Овен. Он только человек очень даровитый, вроде Милля; выше Милля он в том отношении, что умел стать на почву новую и прочную, но далеко уступает он Миллю солидностью образования: он учился на медные деньги, не имел даже куска хлеба от черной работы, которая дала Прудону время долго учиться хотя на медные деньги. Стало быть, если хотите, можете ставить его, как теоретика, далеко ниже и Прудона и Милля. Значит, мы обращаем именно здесь внимание на него не потому, чтобы он сам по себе был выше других,—куда, далеко нет. Но литературный талант у него очень большой и притом совершенно такого рода, какой всего больше нравится французам: он пишет патетично (от этого чуть ли не больше всего и не пользуется он популярностью у нас, для которых более привычен теперь иронический тон)⁷ Благодаря этому он оказался популярнейшим человеком из всех людей новых экономических школ в 1848 году, и ему, а не другому кому привелось быть тогда представителем требований парижских работников во временном правительстве. Плохо ли, хорошо ли исполнял он эту обязанность, здесь для нас все равно. Фактически верно только одно: пока он сохранял хотя тень участия в правительстве, междоусобной войны в Париже не было. А может быть, он и был виноват этим, судите, как хотите. Но только все-таки он был представителем требований парижских работников, стало быть, на его голову и обру-

шила вся ненависть к этим требованиям, и в тысяче книг подробно объяснено, что он злодей вроде Ваньки Каина: хотел перерезать половину французов, заgrabить имущество перерезанных и т. д., и все это, видите ли, по мелкому тщеславию и по злобной трусливой завистливости. Оно, может быть, и правда. Но дело не в том, что он за человек сам, — мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе и не имели бы, оттого что оригинального в них мало.

Оно, впрочем, тем и удобнее для нас взять его в пример, что оригинального у него мало. Посмотрим же, что такое он предлагал.

У Милля мы прочли, что он коммунист⁸, требующий совершенного равенства, — не имущества: какие уж имущества при коммунизме, отрицающем всякую собственность, — а доходов или выдачи содержания каждому члену нации. Ну, действительно, это вещь не слишком-то удобоисполнимая не только при нас, а и при внуках наших, да и при праправнуках. Да нет, прибавляет Милль, это еще не все, это еще только на первый раз думает он так сделать, а собственно требует он, чтобы каждый посвящал все свои силы на работу в пользу коммунистической кассы, а получал содержание, какое она положит ему по рассмотрении его надобностей, то есть это значит, что если она рассудит, что я могу существовать черным хлебом и толокном, то буду я работать, как вол, и будут посторонние мне люди кушать возделанный мною белый хлеб и говядину из выкормленного мною скота, а мне и понюхать никогда не дадут ни говядины, ни белого хлеба; ну, это еще неудобоисполнимое в нынешнее время; ведь нужно перевоспитать несколько поколений, чтобы соблюдаема была людьми справедливость при распределении доходов без всякой другой нормы, кроме общественной добросовестности. Ну, видно, что и глуп же этот Луи-Блан! Да и парижские работники что за олухи, что носили на руках такого фантазерного идиота.

Может быть, вы рассудите так, а может быть, навернется вам на ум другая догадка: если масса людей грамотных, довольно много читавших и очень опытных в житейском деле — а ведь парижские работники таковы, — выводила вперед своим представителем Луи-Блана, то, вероятно, его требования не были же до такой осязательности неудобоисполнимы для нынешнего времени. Обманет ли вас эта догадка, вы решите, прочитав следующий отрывок из статьи, на которую мы ссылались. Надобно

сказать, что в том месте статьи, откуда берется он, мы рассматривали одно из обыкновенных возражений против новых экономических теорий, — говорят, будто ими стесняется свобода человека. Заметьте кстати, что у Милля если нет этого пошлого возражения, то слегка высказывается мнение, что при тех усовершенствованиях принципа личной собственности, какие предполагает в будущем Милль, принцип этот давал бы человеку больше свободы, чем возможно при другом принципе, о котором теперь идет речь. Как там было бы в отдаленном будущем при усовершенствовании, предлагаемом Миллем, об этом мы поговорим ниже, когда будем рассматривать, могут ли довести до цели, выставляемой Миллем, реформы, им предлагаемые. А теперь мы пока просим читателя не делать сравнений, а просто без всяких сравнений сказать: находится ли хотя малейшее стеснение для свободы человека в плане, который он сейчас будет читать, — если в нем нет ни малейшей тени стеснения, то можно будет, кажется, сказать нам впоследствии, что противоположный принцип уже ни при каких усовершенствованиях не превзойдет его своею просторностью для свободы⁹. [...]

В плане, нами представленном, дело, ведущееся совершенно самостоятельно, в первый год при самом слабом правительственном вмешательстве, ограниченном лишь выбором директора, который и тут ничего не значит без административного совета, избираемого самими участниками предприятия, со второго года уже решительно без всякой тени какого бы то ни было правительственного вмешательства, начинается однако же при пособии ссуды, даваемой правительством. Мы уже говорили в приведенном отрывке, что, кажется, тут нет ничего чрезмерно гибельного для свободы соучастников, но толпа французских экономистов вопиет: «ужасно, ужасно! общество ставится в азиатскую зависимость от правительства! вводится демократическая централизация¹⁰, пред которой ничто нынешняя чрезмерная французская административная опека!» Когда вы сами знаете произведение писателя, обвиняемого в таком злостном намерении, вы только пожмаете плечами, слыша этот вопль. Ведь он принадлежит к партии, которая хочет обратить нацию в собрание самобытных федераций, так чтобы каждый округ был федерацией независимых городов и сел, департамент — федерацией округов. Франция — федерацией департаментов, откуда же могло возникнуть порицание за любовь к опекунивающей централизации, порицание вроде того, как если бы кто вздумал порицать кошек за любовь к собакам?

Главное основание тут вот какое: Луи-Блан — не теоретик, занятый отвлеченными соображениями о своих собственных симпатиях или антипатиях, а публицист или государственный человек, думающий почти исключительно о настоящем. Что же мы видим в настоящем у французов? Видим административное устройство, прямо противоположное английскому: в Англии правительство не может помешать частному человеку решительно ни в каком деле, кроме фактического преступления. Во Франции решительно нет возможности устоять коммерческому, промышленному, какому хотите предприятию, если администрация захочет помешать ему. Формальности бесчисленны; по контролю за исполнением каждой формальности полиция имеет очень широкий произвол, имеет не только что теперь, при восстановленной империи; нет, точно столько же произвола имела и при Луи-Филиппе и при Бурбонах. Не то, что какой-нибудь опыт нового промышленного порядка с неизбежными при всяком опыте колебаниями, не то, что какое-нибудь дело, имеющее против себя биржу и всех капиталистов, нет, самая солидная купеческая фирма обанкротится через полгода, если захочет того администрация. Крайний случай будет такой: управляющий делами подозревается в неисправном ведении книг; он берется под арест, и на место его назначается администрацией новый управляющий делами, который находит и докладывает префекту или министру, что дела фирмы следует ликвидировать, они и ликвидируются. Но до этой крайности едва ли когда понадобится дойти: есть сотни способов расстроить предприятие и без нее.

Нравится или не нравится это вам ли, другому ли кому, например хоть Луи-Блану, не о том речь. Речь о том, что французы с незапамятных времен привыкли к такому порядку вещей, они привыкали к нему по крайней мере со времен Ришелье, если не раньше, и в какие-нибудь 30 лет, прошедших между первой и второю империею¹¹, разумеется, не могли много отвыкнуть от него. Что укоренялось в понятиях в течение многих поколений, то не изгладится из нравов иначе, как сменою нескольких поколений. Что же теперь делать? Политические формы могут сменяться, — они и сменялись во Франции; одни из них могут быть удобнее других для развития в народе известных привычек, для изглаживания других; одни из них могут ближе соответствовать существующим привычкам, другие по своей тенденции быть дальше от них; но все-таки масса действий администрации при каких бы то ни было политических формах будет в духе народных привычек. Попробуйте за-

вести в Азии европейские политические формы, какие хотите: очень долго при таких формах администрация будет действовать в духе, очень мало различном от прежнего. В доказательство посмотрите на английское управление в Ост-Индии, — чистое азиатство, или на французское в Алжире, — тот же самый Египет. Разумеется, администрация может получить другие цели, например, при Алексее Михайловиче она отстраняла от нас европейские формы, при Петре Великом вводила их; в Англии при Стюартах старалась распространять католичество, при ганноверской династии¹² стеснять его, во Франции в первую республику уничтожать аристократию, в первую империю — создавать новую аристократию с возможным сохранением нового порядка вещей, при Бурбонах — восстанавливать старинную аристократию с восстановлением по возможности старого порядка вещей; все это так, цели могут быть очень различные, но характер действий изменяется очень медленно: быстро измениться он не может; народные привычки не дают ни материалов, ни опоры. Сделайте дровосека столяром, с первой же минуты он станет делать новое дело, а скоро ли приобретет он осторожные, осмотрительные приемы столяра? нет, долго будет по-прежнему махать сплеча. Или посадите ювелира бить камни для шоссе: скоро ли он приобретет размашистые привычки к полновесным ударам со всего плеча?

На что же теперь должен рассчитывать во Франции человек рассудительный, каких бы мнений сам ни был? По французским привычкам, какие хотите заводите формы, администрация долго останется так привязчива ко всему и сохранит такую власть над всяким частным делом, что против нее никакого частного дела нельзя вести; а не вмешиваться в него, этого она уже не может. Мало ли чего будет через 40, через 50 лет, а теперь, кого хотите определяйте префектом ли, мэром ли, полицейским ли комиссаром, полевым ли сторожем, каждый говорит одно: «я не могу не заботиться об общественном благе, поэтому мне до каждого дела есть дело; я буду изменник родине и своей обязанности, если останусь в стороне от чего-нибудь; нет, если что хорошо, я должен помогать, если что дурно, я должен останавливать». А вздумай кто из этих администраторов оплошать, не вмешаться во что-нибудь, весь город закричит: «плохо, сударь, не исполняете своей обязанности! посмотрите-ка, вон в том переулке человек табаку понюхал, а вы ему не сделали ни помощи, ни задержки!» ну и застыдят человека: почувствует совесть, вмешается, сделает помощь или задержку.

Что же вы прикажете делать с таким народцем? Не о том спрашивается, к чему его направлять в будущем, а как устроить с ним какое-нибудь дело теперь? Администрация во Франции не может оставаться равнодушной ни к чему; она каждому делу непременно хочет и нуждается общественным мнением или помогать, или мешать; этого свойства вы никакими силами у нее в скором времени отнять не можете, и никакими средствами не можете вы в скором времени сделать, чтобы она не сохраняла чрезвычайного могущества над частными делами, так что не может идти никакое частное предприятие, которому она мешает. А всему, чему она не помогает, она мешает.

Но что же, скажите на милость, почтет нужным какой-нибудь заклый англоман или американофил при таком положении, если он человек рассудительный, а не фантазер, воображающий, что вот завтра же французы обратятся в англичан? Разумеется, он рассудит: «если я хочу успеха своему делу, я должен иметь на своей стороне администрацию».

Только? Только и есть. Думай Луи-Блан вести свое дело у англичан, он и не подумал бы об администрации. Но что же ему было делать, когда он хотел вести свое дело у французов? Разумеется, ему приходилось видеть, что нужно содействие администрации. И если он высказывал это, видно только, что был не лгун и не совершенно лишен здравого смысла.

Нужно же иметь каплю здравого смысла и не автору только или оратору, а также и людям, которые берутся судить о нем.

«Но принцип невмешательства, о котором так прекрасно говорит политическая экономия?» Да сообразите же вы, из какого народа были, в какой стране жили, для кого писали Адам Смит, Мальтус, Рикардо: ведь они были англичане, писали для англичан. Виноваты ли были эти умные люди в том, что не привелось ни одному из их последователей в других странах быть таким же умным человеком, иметь самостоятельное соображение, чтобы понимать, какие результаты для практических способов ведения дел происходят от разности, пожалуй, неудовлетворительности континентальных привычек сравнительно с английскими? Английские политико-экономы говорят, например, что самая выгодная для простолюдина одежда — миткалевая и ситцевая. Ну чем они будут виноваты, если у нас кто-нибудь, не разобрав дела, начнет твердить, что наши мужики нерасчетливы тем, что вместо миткаля и ситца носят обыкновенно холст? Чем английские ученые

виноваты, что этот господин повторяет их слова, не разобрав дела, не разобрав, что у нас миткаль и ситец остаются еще дороже холста? Другое дело, если вы только говорите, что следует желать удешевления хлопчатобумажных тканей у нас; и что, когда они подешевеют так же, как в Англии, нашему мужику откроется возможность покупать их для будничной носки, подобно английскому. Но ведь это еще когда-то будет, а пока еще совсем не то.

Словом сказать: теория административного содействия плану ли, изложенному нами, другому ли какому общественному делу, или частному предприятию, — не принадлежит к самой сущности мысли говорящего о том человека, а происходит лишь из соображений местных обстоятельств и народных привычек. Кажется вам, что в данном месте в данное время общественные привычки и практическая возможность ведения дел сходны с английскими, ну что ж, вы можете находить, что административного содействия не нужно для вашего дела, а если находите вы иное, тогда нечего делать, должны вы чувствовать нужду в том, что не было бы вам нужно при других обстоятельствах. [...]

При патриархальном расчете остается на произвол производителя принимать или не принимать даже и те усовершенствования, с которыми он знакомится из скудных источников сведений того быта. А в человеке, кроме экономического расчета, кроме стремления к выгоде, существуют наклонности, прямо противоположные этому стремлению. Из них главные: наклонность пристращаться к рутине и обольщаться фальшивым самолюбием. «Э, проживем по-прежнему. Отцы и деды не глупее нас были» и т. д. — «Славны бубны за горами. Я сам не глупее других» и т. д. Нет надобности говорить, как часто эти враждебные прогрессу наклонности подчиняют себе человека до того, что не позволяют ему учиться и изменять способ своих действий сообразно его выгоде. При форме соперничества расчет выгоды приобретает силу физической необходимости; в этой форме он довольно быстро одолевает и рутину и фальшивое самолюбие.

Мы не распространяемся об этих преимуществах, потому что они очень подробно и резко выставляются на вид в каждом рутинном курсе политической экономии. Но, признавая громадный перевес формы соперничества над формами патриархального расчета, мы не можем скрыть, что она все еще далеко не представляет удобств, требуемых теорией науки. Просим читателя не приписывать нам того направления мыслей, которое ясно отвергается всем

ходом нашего изложения. Когда кто-нибудь находит недостатки в настоящем или новом, консервативная толпа возражателей кричит, что он хочет возвратить старину. В большей части случаев крик этот поднимается только от ослепления. Но действительно случается довольно часто и то, что экономические реформаторы или употребляют неосторожные выражения, или даже и на самом деле допускают в своих понятиях примесь предубеждений о достоинствах старины. Например, доказывая неудовлетворительность соперничества, выражаются или думают так, как будто лучше его были формы, им вытесняемые. Мы не имеем ничего подобного такому взгляду в своих мыслях и стараемся (не знаем, успеваем ли) выражаться так, чтобы не возбуждать ошибочных мыслей в этом отношении. Настоящее нисколько не представляется для нас удовлетворительным; новое не представляется идеалом совершенства. Но, кажется, ясно бывает из наших слов, что мы судим тут по требованиям науки, по средствам, какими снабжает она человека, а не по старинному еще менее удовлетворительному быту. Не о том речь, лучше ли старого новое, удовлетворительнее ли настоящее прошедшего; речь о том, не следует ли искать еще лучшего и не имеет ли человек уже и теперь средств ввести в свой быт принципы, которые были бы на столько же лучше нынешних, на сколько нынешние лучше каких-нибудь чисто варварских старинных. Например: если мы видим, что положение наемного работника неудовлетворительно, а работа его слишком неуспешна, разумеется, тут нет у нас ничего подобного пристрастию к какой бы то ни было форме невольничества, — наемный труд гораздо лучше невольнического, тут и рассуждать нечего, это доказывается в каждом курсе политической экономии, — нет, у нас ввиду другое положение, положение хозяина. Точно так же мы говорим о принципе соперничества. Его недостатки — недостатки не по сравнению с патриархальными формами расчета, а с теми формами, каких требует разум.

Посмотрим же, удовлетворительно ли действуют даже те стороны соперничества, в которых состоит его преимущество над патриархальными формами расчета.

Оно облегчает производителю узнавать усовершенствования, сделанные в производстве другими, и оценивать их. Но каким способом получают эти сведения? — прямым ли, самым ли простым и верным? Простота и верность способа, конечно, требуются теорией. Простейший и вернейший способ распространения сведений об известном деле — то, когда человек знакомится прямо с самим делом,

а не с одними его результатами. Например, что лучше и выгоднее: знать тот факт, что известный производитель разбогател или сверх того знать также метод производства, которым он разбогател? Знать, что английские стальные инструменты хороши или знать метод их выделки? Соперничество знакомит только с результатом, а не с методом, которым достигается результат. Это — своего рода Пинетти: извольте смотреть, вот какие удивительные вещи умеет делать этот искусник; а как он их делает, какие приемы употребляет и по какому методу развил в себе способность к таким приемам, этого вы извольте доискиваться сами. Да, соперничество держится метода секретности. То, что уже придумано одним, должны придумывать после него еще сотни тысяч лиц. Экономно ли это? Способ распространения сведений по принципу соперничества неудовлетворителен. При неудовлетворительности способа, по которому распространяются сведения, конечно, должны быть неудовлетворительны и средства к практическому их применению. Лучше всего устраивается дело человеком, научившимся устраивать его. Моя польза в том, чтобы становился моим руководителем тот, кто искуснее меня. При соперничестве практическое искусство — такой же секрет, как и теоретическое знание. Кто выучился пользоваться изобретением, выгода того требует, чтобы другие как можно дольше не пользовались им. Мы не говорим о вещах нечестных (и очень убыточных для общества), до которых слишком часто доводит такое отношение: фабрикант старается мешать другому в заведении фабрики, ремесленник старается расстроить дела другого ремесленника; тут бывают бесчисленные интриги, обманы и т. д. Обратим внимание лишь на те черты дела, которых необходимо держаться каждому производителю, как бы ни был он честен. Он стал бы действовать во вред себе, то есть изменил бы своей обязанности к своему семейству, если бы помогал другим производителям принять усовершенствованный процесс, следовать которому научился. Он в положении нашей знахарки, лекарство которой теряет силу, как только она научит кого-нибудь другого его употреблению. Таким образом, при соперничестве искусство должно осуществляться неискусными руками, знание должно распространяться незнанием.

Каковы способы и средства, точно такова же и норма оценки. Она ставится вне предмета, в его случайной принадлежности, — в продаже и в цене. Об этом мы уже говорили, заметили, что связь между стоимостью предмета и его продажной ценою слишком не верна, а для успеш-

ности производства необходимо, чтобы расчет производился по стоимости предмета.

Таким образом, принцип соперничества действует далеко не удовлетворительно в облегчении производителю знакомства с усовершенствованиями и суждения о них; точно так же действует он и в том отношении, чтобы поставить производителя в необходимость руководиться в производстве приобретенным знакомством с улучшениями. То правда, что руководиться этим знакомством производитель будет принужден при соперничестве, но в каком смысле необходимо ему руководиться знакомством с улучшениями, в хорошем или дурном, в выгодном или убыточном для общества смысле, этого принцип соперничества не решает или, лучше сказать, часто решает это в убыточном смысле. Он внушает только ту заботу, чтобы производить успешнее других, иметь преимущество над другими; это преимущество достигается худою успешностью работы других, точно так же как и усилением успешности собственной работы. Если взять верх усовершенствованием собственной работы нетрудно, производитель будет заботиться об этом; если же это окажется ему трудно, он обращается к легчайшему способу, — старается мешать другим.

Мы рассматривали неудовлетворительность принципа соперничества с теоретической точки зрения, излагали его недостатки в отвлеченных понятиях. Какими результатами отражается теоретическая неудовлетворительность его на практике, очень подробно изложено во многих книгах. Каждый читатель знаком с этою практическою стороною: промышленная неприязнь между разными странами, разными провинциями одной страны, разными производителями одной провинции; экономическая неприязнь между сословиями; слишком рискованные обороты, кончающиеся промышленными кризисами, — обо всем этом говорили мыслители, после которых наши слова о том же были бы слишком слабы. Мы хотели обратить внимание читателя на то, что все эти вредные явления практической жизни коренятся в самом принципе, в самой логике соперничества, никак не могут быть устранены от него, и обратим внимание лишь на одно из этих практических отношений по элементу, который с особенной силою выставляется Миллем при каждом удобном случае.

Курс Милля весь проникнут глубоким сознанием важности Мальтусовой теоремы. Если размножение идет быстрее, чем следовало бы по прогрессу промышленного развития страны, масса населения необходимо терпит нужду; положение массы может улучшиться только тогда,

если сократится размножение, — вот мысли, которые постоянно твердит Милль. Мы старались доказать, что коренная причина нужды теперь не в чрезмерности размножения, а в элементах, более фундаментальных; что при устранении этих элементов, зависящих от самого человека, размножение ни теперь, ни в течение долгих веков еще не могло бы вредить благосостоянию массы. Но если эти элементы остаются, то Мальтус вполне прав. Когда человек нездоров, ему необходимо воздерживаться от пищи, которая была бы не вредна, а здорова ему, здоровому. Так, при нынешних экономических отношениях вредно обществу размножение. Посмотрим же, какую связь с размножением имеет принцип соперничества.

Соперничество имеет в виду цену. Цена продукта складывается из разных элементов, из которых большая часть в последнем анализе оказывается только видоизменением рабочей платы. Следовательно, при соперничестве все наниматели труда влекутся понижать рабочую плату. Рабочая плата определяется уравнением запроса и снабжения. Чем больше людей, ищущих работы, тем ниже рабочая плата; следовательно, прямая выгода каждого нанимателя труда состоит в том, чтобы людей, ищущих работы, являлось как можно больше, то есть чтобы простонародье размножалось как можно быстрее. Смотрите же теперь, какое противоречие: чтобы улучшилось положение работника, должно уменьшиться размножение; чем меньше будет масса простонародья, тем лучше будет каждому простолюдину; но чем больше будет размножаться простонародье, тем выгоднее нанимателю труда; следовательно, на сколько размножение убыточно целому обществу и каждому простолюдину, на столько же оно выгодно сословию, господствующему над экономическими явлениями.

Почему Милль не выставляет этот результат соперничества так же настойчиво, как выставляет Мальтусову теорему? Просто потому, что он не надеется на возможность формы экономического расчета, которая заменила бы собою соперничество. Надобно действительно сказать, что практическое принятие обществом такой формы экономического расчета, которая была бы удовлетворительнее соперничества, — дело очень трудное при наших привычках, требующее очень большого прогресса в понятиях и обычаях. Это мы должны видеть из характера тех самых недостатков, которые нашли в соперничестве.

Коренной недостаток соперничества тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его (не стоимость, а цену). Следовательно, чтобы

принцип соперничества заменился хорошою формою расчета, нужна очень твердая привычка судить о вещах по их натуре, а не по внешним признакам или случайным последствиям. Чтобы сознательно и твердо держаться такого принципа, людям нужно приобрести гораздо большую твердость мыслей, чем к какой способно теперь огромное большинство не одних простолюдинов, но и образованных сословий. Если бы не существовало в массе общества элементов, сильно ведущих к такому укреплению, надобно было бы сказать, что перспектива эта слишком еще далека от нашего времени. Но существуют экономические элементы, сильно помогающие прогрессу расчетливости, требуемой теориею. Общество разделяется в экономическом отношении на две части. Одну, конечно, всегда малочисленную по количеству, составляют люди, из которых у каждого доход получается в последнем анализе не столько от его собственного труда, сколько от поступления в его пользу части труда нескольких или многих других людей. Человеку в таком положении невыгодна была бы оценка вещей и заслуг по их сущности. Весь или почти весь доход его извлекается из преувеличенной оценки его трудов или заслуг по какому-нибудь предубеждению, или по рутине, или по какому-нибудь фальшивому признаку. Не таков интерес другой, несравненно многочисленнейшей части общества, составляемой людьми, из которых каждый не только не получает в свою пользу часть труда или продукта других, но и продуктом своего труда или заслуг пользуется не вполне, оставляя большую или меньшую долю его в пользу кого-нибудь из первой части общества. Для человека, который должен рассчитывать лишь на свой труд, лишь на свои действительные заслуги, оценка вещей по их существенному достоинству выгодна. Как только кто из таких людей приобретает привычку мыслить, он влечется своими мыслями к переоценке предметов по их сущности, находя под возбуждением личного интереса неосновательными те оценки, какие установились по интересу классов, живущих чужим трудом. Необходимость честной трудовой жизни делает человека нерасположенным к обольщению. А масса нации в каждой цивилизованной стране просвещается теперь если и не с восхитительною быстротою, то все-таки довольно заметно, и не очень далеко время, когда она приобретет способность судить о вещах своим умом по своим интересам. Соразмерно успехам ее умственной жизни, будет входить в экономические дела и норма расчета, сообразная с выгодами человечества.

Другой недостаток соперничества, — то, что оно, кроме хорошего способа приобретать выгоду, оставляет человеку и противоположный, дурной способ: человек выигрывает при соперничестве не только от успешности своей работы, но и от неуспешности работы других. Очевидно, что этот второй вред происходит из первого коренного недостатка, о котором мы сейчас говорили. Существенное достоинство предмета находится в качествах самого предмета, а не в том, лучше или хуже его другие предметы того же разряда. Говорят: «годность предмета узнается по сравнению». Действительно, но по сравнению с чем? С требованиями, какие надобно иметь от этого предмета, с потребностями человеческой природы, которые должны быть удовлетворяемы этим предметом. Хорошая ли для торговых дел река — река Темза? Очень хорошая, потому что самые большие суда ходят по ней свободно, и настолько она широка, что просторно на ней всем судам, сколько бы ни пришло их. После этого какая же надобность рассуждать, что Миссисипи гораздо шире Темзы, а какая-нибудь речка Безъимянка гораздо уже и мельче ее? От этих сравнений Темза нисколько не оказывается более удобною или менее удобною для торговли, чем без них. Хорошая ли река — река Темза по снабжению людей водою для питья? Решительно негодная река, потому что вода в ней грязная и вонючая. Что же может она проиграть в этом отношении чрез сравнение с Невой, в которой вода для питья прекрасная? Ведь и без этого сравнения вода Темзы уже оказывалась совершенно непригодною для питья. Или что она выиграет от сравнения с той же речкой Безъимянкой, которая завалена навозом, так что вода в ней не просто грязная и вонючая вода, а густейший навозный настой? Разве меньше грязи и вони будет в воде Темзы, если мы скажем, что существуют речки, еще более вонючие? Норма сравнения для предмета — потребности того человеческого дела, на которые должен служить предмет. По степени своей пригодности к делу предметы одного разряда распределяются на хорошие и дурные, очень или просто хорошие или дурные. Но самое отношение известного предмета к делу, то есть существенное достоинство этого предмета, нимало не выигрывает и не проигрывает от того, много ли предметов находится в классах высших, чем он, и в классах низших, чем он. Вам угодно судить об этом куске сукна, продающегося по два рубля за аршин. На что вам нужно это сукно? На то, чтоб иметь платье теплее бумажного, или полотняного, или шелкового? Если так, вы не найдете сукна, которое лучше этого куска удовлетво-

рило бы вашей надобности: оно плотно, прочно, нетяжело, мягко. Всеми этими качествами обладает оно, если говорить практически, в совершенстве. Сравнивайте его с каким хотите сукном, эти его качества не увеличатся и не уменьшатся. Рассматривайте со всевозможною внимательностью самый этот кусок, чтобы убедиться в его качествах, а сравнивать его ни с сермягою, ни с высшими сортами сукна нет вам никакой надобности.

Или нет, есть надобность: надобно удостовериться, стоит ли он по 2 рубля аршин. Но эта надобность не принадлежит к сущности дела; она происходит оттого, что вы не знаете ни стоимости этого сукна, ни того, правильно ли назначается купцом цена. Следовательно, чтобы судить о продукте по его собственным качествам, а не по сравнению с другими предметами того же рода, нужны два условия: надобно, чтобы производство предмета велось открыто, как ведутся счетные книги акционерных обществ; надобно также, чтобы предметы оценивались столь же открыто по этой явной для всех стоимости. Вот условия, без которых невозможно замещение принципа соперничества формою экономического расчета, более удовлетворительную. Чтобы производство велось открыто, для этого нужно, чтобы сам потребитель был хозяином-производителем. Счеты по коммерческому делу открыты лишь хозяевам дела. Чтобы оценка продукта делалась по его стоимости, для этого опять нужно, чтобы некому было выигрывать от оценки предмета выше его стоимости, то есть опять нужно, чтобы потребитель сам был и производителем. А при нынешних формах производства, при нынешнем экономическом устройстве это чистая невозможность. Подумайте только: ведь тут предполагается, что кто пашет землю, тот имеет на своем столе хлеб, лучше которого нет ни у кого в целой нации; а кому угодно носить бархатное платье, тот сам должен сидеть за станком, чтобы выткать бархат (мимоходом говоря, надобно думать, что при таком условии мало нашлось бы охотников до бархата). Читателю известны формы экономического устройства, посредством которых должны быть достигнуты эти условия. Тут главное дело в том, чтобы работники приобрели искусство сами управлять предприятиями, в которых работают: цель новых форм та, чтобы работники сделались из наемных людей хозяевами; а хозяин, разумеется, должен сам иметь неослабный надзор за предприятием и за всеми его людьми, которые заведывают тою или другою стороною его. При нынешнем своем развитии большинство простолюдинов, даже и в передовых странах, еще слишком мало под-

готовлено к этому. Но и здесь опять мы должны сказать, что время подготовки значительно сокращается очевидно большой выгодой новых форм для простолюдинов.

После этих разъяснений уже сам собою ясен становится характер той высшей формы экономического расчета, которую должно заменить соперничество, когда заинтересованные в этой замене сословия приобретут самостоятельность мысли и привычку к ведению промышленных предприятий. Нормой расчета по требованию теории должна быть самая сущность рассчитываемого дела, то есть стоимость продукта. Производители, работая сами на себя, будут, конечно, соображать не случайную принадлежность продукта, цену, потому что главная масса их продуктов вовсе и не пойдет на рынок, не будет выходить из их рук, стало быть, и не будет искать себе цены; работая на собственное потребление, они будут соображать коренные элементы дела: мы располагаем известным количеством рабочего времени и рабочих сил; в какой пропорции выгоднее всего для нас распределить эти силы, это время между разными производствами на удовлетворение разных своих надобностей? Основанием расчета тут будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для других надобностей, не менее или более настоятельных. [...]